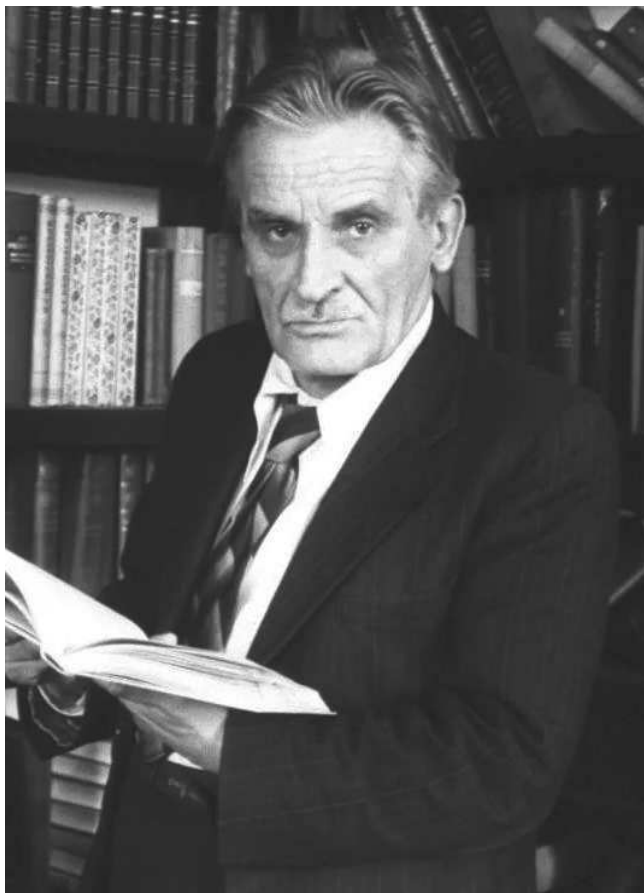


ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ ЛИТАГЕНТСТВА ФТМ

КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ЮРИЙ ОЛЕША

1899-1960

ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ ЛИТАГЕНТСТВА ФТМ

Юрий Олеша

Ни дня без строчки

ФТМ

УДК 82/821-821.161.1
ББК 84-4(2Рос=Рус)
О-53

Олеша, Ю.

О-53 Ни дня без строчки / Ю. Олеша. – М. : Т8 RUGRAM / Агентство ФТМ. – 318 с. – (Легендарные книги литагентства ФТМ).

ISBN 978-5-519-66177-5

Юрия Карловича Олешу (1899–1960) в кругу писателей-современников называли «Королём метафор». Олеша не умел писать «темно и вяло», длинно и скучно, его проза искрится блестящими образами и афоризмами, чуть ли ни каждый абзац по ёмкости и законченности равноценен новелле.

«Ни дня без строчки» – книга, представляющая собой дневник, состоящий из миниатюрных зарисовок. Выход книги, собранной из архивов, дневников и записных книжек Олеша уже после смерти автора, стал ответом для тех, кто пытался понять причины многолетнего «литературного молчания» писателя.

litagent.ru

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

УДК 82/821-821.161.1
ББК 84-4(2Рос=Рус)
ВІС FC
BISAC FIC000000

ISBN 978-5-519-66177-5

© Т8 RUGRAM, 2018
© ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2018
© Текст. Ю. Олеша, наследники, 2018

Часть первая

ДЕТСТВО

Прежде чем предложить вниманию читателя эту книгу, я хочу рассказать историю ее возникновения. Это необходимо, поскольку книга необычна — какие-то отрывки! — и может оказаться не только непонятой читателем, но даже вызвать раздражение.

Книга возникла в результате убеждения автора, что он должен писать... Хотя и не умеет писать так, как пишут остальные.

Однажды я как-то по-особенному прислушался к старинному изречению о том, что ни одного дня не может быть у писателя без того, чтобы не написать хоть строчку. Я решил начать придерживаться этого правила и тут же написал эту первую «строчку». Получился небольшой и, как мне показалось, вполне законченный отрывок. Произошло это и на следующий день, и дальше день за днем я стал писать эти «строчки».

Мне кажется, что единственное произведение, которое я могу написать как значительное, нужное людям, — книга о моей собственной жизни.

В прошлом году распространился слух, что я написал автобиографический роман.

В ресторане Клуба писателей, через который я проходил, неожиданно подняв на меня лицо, Тараховская, автор детских стихов и, конечно, взрослых эпиграмм, спросила меня:

— Это правда, что вы написали автобиографический роман?

Я сказал, что нет, она огорчилась — по лицу было видно, что огорчилась.

— Боже мой, а говорят, такой замечательный автобиографический роман.

И мне самому стало жаль, что я не написал романа. Я очень нежно, благодарно попрощался с ней.

Я вспоминаю только один из фактов. Еще со всех сторон я слышал о моем романе.

Что же, очевидно, хотят, чтобы именно я написал, если верят в слух, если сами распространяют. Может быть, нужно написать, если этого хотят современники? Причем просто подсказывают форму — автобиографический роман... Этим, кстати, показано понимание характера моих писаний.

Попробовать?

Ну вот начало.

Я шел в гимназию по главной улице города, которая называлась Дерибасовская, вдоль магазинов с их витринами, кстати говоря, очень богатыми и нарядными, вдоль платанов, вдоль зеленых скамеек, вдоль часов магазина Баржанского, таких широких в диаметре и висевших так невысоко над улицей, что и вправду можно было идти вдоль них.

Часовой магазин Иосифа Баржанского.

Часы над улицей.

Стрелки кажутся мне величиной в весла... Нет, это все...

Я сейчас выскажу мысль, которая покажется по крайней мере глупой, но я прошу меня понять.

Современные прозаические вещи могут иметь соответствующую современной психике ценность только тогда, когда они написаны в один присест. Размышление или воспоминание в двадцать или тридцать строк, максимально, скажем, в сто строк — это и есть современный роман.

Эпопея не представляется мне не только нужной, но вообще возможной.

Книги читаются сейчас в перерывах — в метро, даже на его эскалаторах — для чего ж тогда книге быть большой? Я

не могу себе представить долгого читателя — на весь вечер. Во-первых, миллионы телевизоров, во-вторых, надо прочесть газеты. И так далее.

Пусть я пишу отрывки, не заканчивая, но я все же пишу! Все же это какая-то литература — возможно, и единственная в своем смысле: может быть, такой психологический тип, как я, и в такое историческое время, как сейчас, иначе и не может писать — и если пишет, и до известной степени умеет писать, то пусть пишет хоть бы и так.

Главное свойство моей души — нетерпение. Я вспоминаю, что всю мою жизнь я испытывал мешавшую мне жить заботу именно о том, что вот что-то надо сделать и тогда я буду жить спокойно. Эта забота рядилась в разные личины: то я предполагал, что это «что-то» — это роман, который надо написать, то это хорошая квартира, то очередное получение паспорта, то примирение с кем-либо, — на самом же деле это важное, что надо было преодолеть, чтобы жить спокойно, была сама жизнь. Таким образом, можно свести это к парадоксу, что самым трудным, что было в жизни, была сама жизнь — подождите, вот умру, и тогда уж буду жить.

Между тем я всегда был оптимистом и очень любил жизнь. Я до сих пор помню то наслаждение, которое я испытывал, вдыхая запах свежеекрасенных зеленой краской дощечек, на которых я собственноручно выводил белилами имена лошадей, над чьими стойлами должны были красоваться эти дощечки... Масляная краска вдвухала в тело здоровье. По всей вероятности, так пахнул именно скипидар. А лошади? Видели я их? Не помню. Лошадей я и не приметил. Я видел только дощечки цвета луга и белые, почти колбасками возвышавшиеся над плоскостью дощечки буквы. Я исполнял эту работу как любитель, как мальчик, которому разрешили делать нечто сверхжеланное...

Ничего не должно погибать из написанного. А я писал карандашом на клеенке возле чернильницы, причем в чужом доме, писал на листках, которые тут же комкал, на папиросной коробке, на стене. Не марал, а именно писал вполне законченно, работая над стилем. Хорошо бы вспомнить, что писал.

Помню отрывок об Эдгаре По — как его несут подобранного в сквере с волочащимся по земле краем пальто. Помню по поводу писем Ван-Гога — какой он скромный, как в своей скромности уговаривает он брата, что в конце концов и он мог бы заниматься живописью — подумаешь! Помню о том, что моя заветная мечта — сделать сальто-мортале. Еще целый ряд отрывков. Есть где-то в папках Гершель, поднимающийся с гостем в обсерваторию, затем мое, гимназиста, удивление по поводу того, что латынь это не что иное, как язык древних римлян. Еще раньше — отрывок о том, как умер от скарлатины гимназист Володя Долгов и мы пришли на похороны, как мы шли по переулку и, казалось, церковь идет нам навстречу. Там же об окне, раскрытом среди зимы, по которому вьется, вылетая из него, занавеска, чем-то напоминающая рыдание — образ смерти. Еще много отрывков, картин, набросков, мыслей и красок.

Нужно сохранять все. Это и есть — книга.

Иногда приходит в голову мысль, что, возможно, страх смерти есть не что иное, как воспоминание о страхе рождения. В самом деле, было мгновение, когда я, раздирая в крике рот, отделился от какого-то пласта и всунулся в неведомую мне среду, выпал на чью-то ладонь... Разве это не было страшно?

Если уж начинать писать книгу о своей жизни, то следовало бы первую главу посвятить тому удивительному обстоятельству, что я не был все время одинаковым, а менялся в

размерах. Даже не мешало бы вспомнить и о том, что меня вообще не было.

Я иногда думаю о некоем дне, когда некая девушка направлялась на свидание с неким молодым человеком. Я не знаю ни времени года, когда совершается этот день, ни местности, в которой он совершается... Я не вижу ни девушки, ни молодого человека. Тем не менее оттого, что они в этот клубящийся в моем воображении день направлялись друг к другу навстречу, произошло то, что в мире появился я.

А если бы свидание не состоялось? Должен был бы я все же появиться от другой пары людей? Именно я?

Я, естественно, не помню, как я родился, момента рождения. Было бы вообще глупо даже подступать к этому вопросу, если бы не наше, не покидающее нас удивление по поводу того, что мы не помним этого момента, и наше желание — хотя бы немного в памяти нашей приблизиться к нему.

В самом деле, что именно первое воспоминание? Вероятно, то, что мы принимаем за первое воспоминание, — уже далеко не первое. Первые воспоминания остались в памяти, может быть, в виде тех кошмаров, которые посещают нас иногда среди глубокого ночного сна, когда мы просыпаемся в ужасе и ничего не можем вспомнить из того, что происходит с нами, хотя сердце так сильно и так быстро бьется, что, очевидно, ужасное происходило с нами еще в этой секунде, в которой мы успели проснуться. Не может быть, чтобы эти первые восприятия мира не были нестрашными. Первые моменты самостоятельного дыхания, первые ощущения собственного веса, первые зрительные, слуховые и осязательные ощущения... Мозг мой уже работал, работали, очевидно, и органы памяти, и не может быть, чтобы в памяти об этих первых моментах ничего не осталось; очевидно, осталось в очень шатком виде, в виде осколков, не имеющих формы, не являющихся картинами, а некими... я даже не могу опреде-

лить... некими продолжающимися в глубине сознания воплями.

Удивительная работа воспоминания. Мы вспоминаем нечто по совершенно не известной нам причине. Скажите себе «вот сейчас я вспомню что-нибудь из детства». Закройте глаза и скажите это. Вспомнится нечто совершенно непредвиденное вами. Участие воли здесь исключено. Картина зажигается, включенная какими-то инженерами позади вашего сознания. Черт возьми, воля почти не во мне! Скорее, она рядом! Как мало она влияет на целого меня! Как мало я, сознательный, я, имеющий желания и имя, занимаю места во мне целом, не имеющем желаний и имени!

Одно из крепко засевших в нас желаний есть желание припомнить первое наше впечатление о мире, в котором мы начали жить.

Я постоянно делаю усилия в этом смысле... Иногда мне кажется, что я вспомнил, что вот оно, это первое впечатление. Однако вскоре убеждаюсь, что вряд ли картина, за которую я ухватился, есть именно первая, которую я увидел отчетливо. Все признаки ее говорят мне, что она появилась уже перед более или менее разбирающимся во внешнем мире сознанием. А первая? Какая же была первая? Вспомню ли я ее когда-нибудь? Возможно ли ее вспомнить?

Наука говорит, что в раннем младенчестве мы видим мир опрокинутым. Если это так, то, значит, и я видел мир опрокинутым. Этой картины опрокинутого мира я не помню, и, следовательно, первые впечатления, полученные мною от мира, навсегда для меня исчезли. Приходится поэтому довольствоваться более поздними, считая их первыми.

Я ем арбуз под столом, причем я в платье девочки. Красные куски арбуза... Вот что встает передо мной как наиболее раннее воспоминание. До того — темнота, ни одной краски.